# Россия (С Руси тянуло выстуженным ветром)

***1
С Руси тянуло выстуженным ветром.
Над Карадагом сбились груды туч.
На берег опрокидывались волны,
Нечастые и тяжкие. Во сне,
Как тяжело больной, вздыхало море,
Ворочаясь со стоном. Этой ночью
Со дна души вздувалось, нагрубало
Мучительно-бесформенное чувство —
Безмерное и смутное — Россия…
Как будто бы во мне самом легла
Бескрайняя и тусклая равнина,
Белесою лоснящаяся тьмой,
Остуженная жгучими ветрами.
В молчании вился морозный прах:
Ни выстрелов, ни зарев, ни пожаров;
Мерцали солью топи Сиваша,
Да камыши шуршали на Кубани,
Да стыл Кронштадт… Украина и Дон,
Урал, Сибирь и Польша — всё молчало.
Лишь горький снег могилы заметал…
Но было так неизъяснимо томно,
Что старая всей пережитой кровью,
Усталая от ужаса душа
Всё вынесла бы — только не молчанье.
2
Я нес в себе — багровый, как гнойник,
Горячечный и триумфальный город,
Построенный на трупах, на костях
«Всея Руси» — во мраке финских топей,
Со шпилями церквей и кораблей,
С застенками подводных казематов,
С водой стоячей, вправленной в гранит,
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра.
В болотной мгле клубились клочья марев:
Российских дел неизжитые сны…
Царь, пьяным делом, вздернувши на дыбу,
Допрашивает Стрешнева: «Скажи —
Твой сын я, али нет?». А Стрешнев с дыбы:
«А черт тя знает, чей ты… много нас
У матушки-царицы переспало…»
В конклаве всешутейшего собора
На медведях, на свиньях, на козлах,
Задрав полы духовных облачений,
Царь, в чине протодьякона, ведет
По Петербургу машкерную одурь.
В кунсткамере хранится голова,
Как монстра, заспиртованная в банке,
Красавицы Марии Гамильтон…
В застенке Трубецкого равелина
Пытает царь царевича — и кровь
Засеченного льет по кнутовищу…
Стрелец в Москве у плахи говорит:
«Посторонись-ка, царь, мое здесь место».
Народ уж знает свычаи царей
И свой удел в строительстве империй.
Кровавый пар столбом стоит над Русью,
Топор Петра российский ломит бор
И вдаль ведет проспекты страшных просек,
Покамест сам великий дровосек
Не валится, удушенный рукою —
Водянки? иль предательства? как знать…
Но вздутая таинственная маска
С лица усопшего хранит следы
Не то петли, а может быть, подушки.
Зажатое в державном кулаке
Зверье Петра кидается на волю:
Царица из солдатских портомой,
Волк — Меншиков, стервятник — Ягужинский,
Лиса — Толстой, куница — Остерман —
Клыками рвут российское наследство.
Петр написал коснеющей рукой:
«Отдайте всё…» Судьба же дописала:
«…распутным бабам с хахалями их».
Елисавета с хохотом, без гнева
Развязному курьеру говорит:
«Не лапай, дуралей, не про тебя-де
Печь топится». А печи в те поры
Топились часто, истово и жарко
У цесаревен и императриц.
Российский двор стирает все различья
Блудилища, дворца и кабака.
Царицы коронуются на царство
По похоти гвардейских жеребцов,
Пять женщин распухают телесами
На целый век в длину и ширину.
Россия задыхается под грудой
Распаренных грудей и животов.
Ее гноят в острогах и в походах,
По Ладогам да по Рогервикам,
Голландскому и прусскому манеру
Туземцев учат шкипер и капрал.
Голштинский лоск сержант наводит палкой,
Курляндский конюх тычет сапогом;
Тупейный мастер завивает души;
Народ цивилизуют под плетьми
И обучают грамоте в застенке…
А в Петербурге крепость и дворец
Меняются жильцами, и кибитка
Кого-то мчит в Березов и в Пелым.
3
Минует век, и мрачная фигура
Встает над Русью: форменный мундир,
Бескровные щетинистые губы,
Мясистый нос, солдатский узкий лоб,
И взгляд неизреченного бесстыдства
Пустых очей из-под припухших век.
У ног ее до самых бурых далей
Нагих равнин — казарменный фасад
И каланча: ни зверя, ни растенья…
Земля судилась и осуждена.
Все грешники записаны в солдаты.
Всяк холм понизился и стал как плац.
А надо всем солдатскою шинелью
Провис до крыш разбухший небосвод.
Таким он был написан кистью Доу —
Земли российской первый коммунист —
Граф Алексей Андреич Аракчеев.
Он вырос в смраде гатчинских казарм,
Его познал, вознес и всхолил Павел.
«Дружку любезному» вставлял клистир
Державный мистик тою же рукою,
Что иступила посох Кузьмича
И сокрушила силу Бонапарта.
Его посев взлелял Николай,
Десятки лет удавьими глазами
Медузивший засеченную Русь.
Раздерганный и полоумный Павел
Собою открывает целый ряд
Наряженных в мундиры автоматов,
Штампованных по прусским образцам
(Знак: «Made in Germany» 1, клеймо: Романов).
Царь козыряет, делает развод,
Глаза пред фронтом пялит растопыркой
И пишет на полях: «Быть по сему».
А между тем от голода, от мора,
От поражений, как и от побед,
Россию прет и вширь, и ввысь — безмерно.
Ее сознание уходит в рост,
На мускулы, на поддержанье массы,
На крепкий тяж подпружных обручей.
Пять виселиц на Кронверкской куртине
Рифмуют на Семеновском плацу;
Волы в Тифлис волочат «Грибоеда»,
Отправленного на смерть в Тегеран;
Гроб Пушкина ссылают под конвоем
На розвальнях в опальный монастырь;
Над трупом Лермонтова царь: «Собаке —
Собачья смерть» — придворным говорит;
Промозглым утром бледный Достоевский
Горит свечой, всходя на эшафот…
И всё тесней, всё гуще этот список…
Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови.
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточьи гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином,
Размах столицы был не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя.
Как медиум, опорожнив сосуд
Своей души, притягивает нежить —
И пляшет стол, и щелкает стена, —
Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя:
Желвак От-Цу, Ходынка и Цусима,
Филипп, Папюс, Гапонов ход, Азеф…
Тень Александра Третьего из гроба
Заезжий вызывает некромант,
Царице примеряют от бесплодья
В Сарове чудотворные штаны.
Она, как немка, честно верит в мощи,
В юродивых и в преданный народ.
И вот со дна самой крестьянской гущи —
Из тех же недр, откуда Пугачев, —
Рыжебородый, с оморошным взглядом —
Идет Распутин в государев дом,
Чтоб честь двора, и церкви, и царицы
В грязь затоптать мужицким сапогом
И до низов ославить власть цареву.
И всё быстрей, всё круче чертогон…
В Юсуповском дворце на Мойке — Старец,
С отравленным пирожным в животе,
Простреленный, грозит убийце пальцем:
«Феликс, Феликс! царице всё скажу…»
Раздутая войною до отказа,
Россия расседается, и год
Солдатчина гуляет на просторе…
И где-то на Урале средь лесов
Латышские солдаты и мадьяры
Расстреливают царскую семью
В сумятице поспешных отступлений:
Царевич на руках царя, одна
Царевна мечется, подушкой прикрываясь,
Царица выпрямилась у стены…
Потом их жгут и зарывают пепел.
Всё кончено. Петровский замкнут круг.
1 Сделано в Германии (англ.). — Ред.
4
Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть, ваятель —
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.
Строителю необходимо сручье:
Дворянство было первым Р.К.П. —
Опричниною, гвардией, жандармом,
И парником для ранних овощей.
Но, наскоро его стесавши, невод
Закинул Петр в морскую глубину.
Спустя сто лет иными рыбарями
На невский брег был вытащен улов.
В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоянный в архивах канцелярий —
Ручной Дантон, домашний Робеспьер, —
Бесценный клад для революций сверху.
Но просвещенных принцев испугал
Неумолимый разум гильотины.
Монархия извергла из себя
Дворянский цвет при Александре Первом,
А семя разночинцев — при Втором.
Не в первый раз без толка расточали
Правители созревшие плоды:
Боярский сын — долбивший при Тишайшем
Вокабулы и вирши — при Петре
Служил царю армейским интендантом.
Отправленный в Голландию Петром
Учиться навигации, вернувшись,
Попал не в тон галантностям цариц.
Екатерининский вольтерианец
Свой праздный век в деревне пробрюзжал.
Ученики французских эмигрантов,
Детьми освобождавшие Париж,
Сгноили жизнь на каторге в Сибири…
Так шиворот-навыворот текла
Из рода в род разладица правлений.
Но ныне рознь таила смысл иной:
Отвергнутый царями разночинец
Унес с собой рабочий пыл Петра
И утаенный пламень революций:
Книголюбивый новиковский дух,
Горячку и озноб Виссариона.
От их корней пошел интеллигент.
Его мы помним слабым и гонимым,
В измятой шляпе, в сношенном пальто,
Сутулым, бледным, с рваною бородкой,
Страдающей улыбкой и в пенсне,
Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив,
По профилю самодержавья: шишка,
Где у того кулак, где штык — дыра,
На месте утвержденья — отрицанье,
Идеи, чувства — всё наоборот,
Всё «под углом гражданского протеста».
Он верил в Божие небытие,
В прогресс и в конституцию, в науку,
Он утверждал (свидетель — Соловьев),
Что «человек рожден от обезьяны,
А потому — нет большия любви,
Как положить свою за ближних душу».
Он был с рожденья отдан под надзор,
Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге,
Судим, ссылаем, вешан и казним
На каторге — по Ленам да по Карам…
Почти сто лет он проносил в себе —
В сухой мякине — искру Прометея,
Собой вскормил и выносил огонь.
Но — пасынок, изгой самодержавья —
И кровь кровей, и кость его костей —
Он вместе с ним в циклоне революций
Размыкан был, растоптан и сожжен.
Судьбы его печальней нет в России.
И нам — вспоенным бурей этих лет —
Век не избыть в себе его обиды:
Гомункула, взращенного Петром
Из плесени в реторте Петербурга.
5
Все имена сменились на Руси.
(Политика — расклейка этикеток,
Назначенных, чтоб утаить состав),
Но логика и выводы всё те же:
Мы говорим: «Коммуна на земле
Немыслима вне роста капитала,
Индустрии и классовой борьбы.
Поэтому не Запад, а Россия
Зажжет собою мировой пожар».
До Мартобря (его предвидел Гоголь)
В России не было ни буржуа,
Ни классового пролетариата:
Была земля, купцы да голытьба,
Чиновники, дворяне да крестьяне…
Да выли ветры, да орал сохой
Поля доисторический Микула…
Один поверил в то, что он буржуй,
Другой себя сознал, как пролетарий,
И почалась кровавая игра.
На всё нужна в России только вера:
Мы верили в двуперстие, в царя,
И в сон, и в чох, в распластанных лягушек,
В социализм и в интернацьонал.
Материалист ощупывал руками
Не вещество, а тень своей мечты;
Мы бредили, переломав машины,
Об электрофикации; среди
Стрельбы и голода — о социальном рае,
И ели человечью колбасу.
Политика была для нас раденьем,
Наука — духоборчеством, марксизм —
Догматикой, партийность — оскопленьем.
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии:
В течение пятидесяти лет
Мы созерцали бедствия рабочих
На Западе с такою остротой,
Что приняли стигматы их распятий.
И наше достиженье в том, что мы
В бреду и корчах создали вакцину
От социальных революций: Запад
Переживет их вновь, и не одну,
Но выживет, не расточив культуры.
Есть дух Истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра,
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетья сделать перегон
От берегов Ливонских до Аляски.
И тот же дух ведет большевиков
Исконными народными путями.
Грядущее — извечный сон корней:
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывают старый ил
И новизны рыгают стариною.
Мы не вольны в наследии отцов,
И, вопреки бичам идеологий,
Колеса вязнут в старой колее:
Неверы очищают православье
Гоненьями и вскрытием мощей,
Большевики отстраивают стены
На цоколях разбитого Кремля,
Социалисты разлагают рати,
Чтоб год спустя опять собрать в кулак.
И белые, и красные Россию
Плечом к плечу взрывают, как волы, —
В одном ярме — сохой междоусобья,
Москва сшивает снова лоскуты
Удельных царств, чтоб утвердить единство.
Истории потребен сгусток воль:
Партийность и программы — безразличны.
6
В России революция была
Исконнейшим из прав самодержавья,
Как ныне в свой черед утверждено
Самодержавье правом революций.
Крыжанич жаловался до Петра:
«Великое народное несчастье
Есть неумеренность во власти: мы
Ни в чем не знаем меры да средины,
Всё по краям да пропастям блуждаем,
И нет нигде такого безнарядья,
И власти нету более крутой».
Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра:
При добродушьи русского народа,
При сказочном терпеньи мужика —
Никто не делал более кровавой —
И страшной революции, чем мы.
При всем упорстве Сергиевой веры
И Серафимовых молитв — никто
С такой хулой не потрошил святыни,
Так страшно не кощунствовал, как мы.
При русских грамотах на благородство,
Как Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев, —
Мы шли путем не их, а Смердякова —
Через Азефа, через Брестский мир.
В России нет сыновнего преемства
И нет ответственности за отцов.
Мы нерадивы, мы нечистоплотны,
Невежественны и ущемлены.
На дне души мы презираем Запад,
Но мы оттуда в поисках богов
Выкрадываем Гегелей и Марксов,
Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп,
Курить в их честь стираксою и серой
И головы рубить родным богам,
А год спустя — заморского болвана
Тащить к реке привязанным к хвосту.
Зато в нас есть бродило духа — совесть —
И наш великий покаянный дар,
Оплавивший Толстых и Достоевских
И Иоанна Грозного. В нас нет
Достоинства простого гражданина,
Но каждый, кто перекипел в котле
Российской государственности, — рядом
С любым из европейцев — человек.
У нас в душе некошенные степи.
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, быльем да своевольем.
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами — Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии всё творчество России:
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, —
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда — тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр — стрельцу, как Аввакуму — Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своевольи, и в самодержавьи.
И нет истории темней, страшней,
Безумней, чем история России.
7
И этой ночью с напряженных плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад —
Страданьями горящих о России…
И чувствую безмерную вину
Всея Руси — пред всеми и пред каждым.***